





Глава первая

ТЕЛЕФОН

Зуев высыпал из ранца полдюжины мелких иконок — медных, жестяных, деревянных, бумажных, — разложил их перед собою на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну: как бы она не обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости.

Зуев молился не даром: через три или четыре минуты в нашем классе начнётся диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней.

Одиннадцать дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошёл наш директор Бургмейстер (Шестиглазый, как мы звали его) и, словно читая стихи, сообщил нам своим строгим, торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа его сиятельство граф Николай Фердинандович фон Люстих на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском уроке во время диктовки.

Теперь этот день наступил.

Мне особенно жалко Тимошу Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса.

Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг.

— Тимоша... погоди... я придумал!

В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи верёвочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше:

— Привяжи к ноге... да покрепче!

И, покуда он возится с узлами хвоста, говорю:

— Дёрну раз — запятая. Два — восклицательный. Три — вопросительный. Четыре — двоеточие. Понял?

Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово. Но он заика, и изо рта у него вылетают только две-три буквы и брызги слюны.

Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, курчавый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту: расширить телефонную сеть.

Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек! Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему.

Блохин достаёт из кармана бечёвку и протягивает её от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет её к своей правой ноге.

Рядом с Бугаём — Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус.

Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой.

За Зюзей Козельским, на «камчатке», у самой стены сидят знаменитые на всю гимназию губошлёпы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним.

— Не забудьте же, — повторяет Блохин, — раз — запятая, два — восклицательный, три — вопросительный, четыре — двоеточие. Поняли?

А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза всё время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку.

В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.

По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятёрка, хотя и случалось, что тут же, по соседству с пятёркой, мне ставили в тетрадку единицу — за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу.

Но вот распахнулась дверь. В класс вошёл не Бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали одиннадцать дней, а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом. И немедленно начал диктовать нам диктовку.

Пришлось поработать моей правой ногой! Всё время, пока длилась диктовка, я дёргал, и дёргал, и дёргал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело.

Диктовка была такая (я запомнил её от слова до слова):

В тот день (дёрг!), когда доблестный Игорь (дёрг!), ведущий войска из лесов и болот (дёрг!), увидел (дёрг!),



что в поле (дёрг!), где стояли враги (дёрг!), поднялось зловещее облако пыли (дёрг!), он сказал (дёрг! дёрг! дёрг! дёрг!): «Как сладко умереть за отчизну!» (дёрг! дёрг!)

Наши парты дрожали, как в судороге. Я без устали передавал свои сигналы Зуеву, и Тимоше, и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муня — Козельскому и братьям Бабенчиковым.

По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным, топорным лицом взял наши тетради и унёс неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха.

И благодарила же меня вся спасённая мною шестёрка! Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы — полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва.

Через неделю в класс деревянной походкой снова вошёл незнакомец в сопровождении нашего наставника Флёрова и заявил, что, по приказу господина попечителя учебного округа его сиятельства графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь...

Незнакомец порылся в тетрадях.

— Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф... Нельзя ли пригласить их к доске?

Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал.

Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое:

В тот день когда: доблестный Игорь ведущий? войска из лесов и болот увидел что в поле где? стояли, враги поднялось!? злое облако пыли?

— Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому нуль, равно как и Григорию Зуеву.

Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постукал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки:

— Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы... Бабенчиков Александр написал свою диктовку так:

В тот день когда доблестный Игорь ведущий войска из лесов и бо, лот уви,дел что в поле где стоя,ли вра!ги поднялось злое облако пы?ли он сказал как слад,ко умереть: за от,чизну.

Беда произошла оттого, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей — быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвертое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо надеясь на мой телефон, товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.

После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть — так болели у меня рёбра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным: они были глухи к моим слезам и протестам.

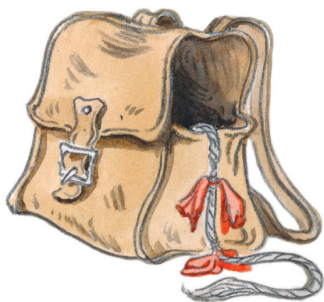
Вернулся я в гимназию лишь на четвёртые сутки.

Молва о телефоне гудела и в коридоре и в классах.

Но Шестиглазый предпочёл притвориться, будто ничего не слышал: иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву, и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью.

Вскоре начались у нас экзамены. Я совсем забыл о телефоне. Но через два года, в пятом классе, случилась со мной беда, о которой я сейчас расскажу. Тут-то мне и припомнили мой телефон, и я понёс такое наказание, какого не забуду до конца моих дней.

Виновником этой беды был наш гимназический поп.





Глава вторая

<<ДА-ДА-ДА!>>

Звали попа Мелетий. Он очень старался быть добрым. Только это плохо удавалось ему, потому что он был очень обидчивый. Заведёт тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны нежно любить и друзей и врагов, и вдруг позеленеет от злости:

— Как вы смеете смеяться надо мной! Бондарчук, почему ты хихикаешь?

— Батюшка, я не хихикаю!

— Нет, ты хи-хи-каешь! Все вы там сзади хи-хи-каете! Вот Лобода не хи-хи-кает! Зувев не хи-хи-кает! Косяков не хи-хи-кает! А вы хи-хи-каете! Почему вы хи-хи-каете?

— Батюшка, мы не хи-хи-каем!

На уроках он всегда был какой-то рассеянный. Соберёт всю бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно:

— Да-да-да-да-да-да!

Отвечаешь ему урок, а он смотрит сквозь тебя куда-то вдаль и говорит невпопад, поддакивая своим собственным мыслям:

— Да-да-да!

Однажды вздумалось мне сосчитать, сколько раз в течение урока он произнесёт это слово. Я стал записывать пальцем на парте, всякий раз макая палец в рот:

«30... 40... 48... 53... 60...»

Моим соседом был Гришка Зуев. В первые минуты он равнодушно глядел на мои вычисления, но в классе стояла такая скучища, что надо же было заняться хоть каким-нибудь делом. И вот, поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты.

Понемногу мы оба приходим в азарт.

Всякий раз, когда замечтавшийся поп произносит своё «да-да-да», мы, торжествуя, стираем ладонями предыдущую цифру и быстро пишем новую. Каждое свежее «да» радует нас, как выигрыш.

Но вскоре я с негодованием вижу, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторгаюсь в его территорию, стираю фальшивую цифру и ставлю верную: 212.

Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью.

Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Мелетия:

— Зуев... и ты... как тебя? Ну-кася, повторите, о чём я сейчас говорил.

Странное дело: нельзя сказать, что мы слушали этот урок невнимательно. Напротив. Для того чтобы не пропустить ни одного «да-да-да», мы должны были жадно вслушиваться в каждое слово Мелетия.

Но, кроме «да-да-да», мы, оказывается, ничего не слышали. Потому что рыбак ловит сетями не воду, а рыбу.

Мы стояли растерянные и бормотали несвязное. Зуеву повезло: его большая круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжёлая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удручённого грешника, переживающего муки раскаяния.

Попу Мелетию его покаянная поза понравилась: поп Мелетий любил плачущих, покорных, униженных. Он прищурил глазок и залюбовался тоскующим Зуевым, как художник картиной. И благосклонно произнёс:

— Да-да-да!

— Четыреста двенадцать, — еле слышно сказал мне Зуев, сохраняя ту же лицемерную позу страдальца, плачущего о своих прегрешениях.

— Врёшь! — возразил я запальчиво. — Не четыреста двенадцать, а двести четырнадцать!

Голос у меня был визгливый, и моё «врёшь» прозвучало как выстрел.

Мелетий взлохматил бороду.

— Сейчас же ступай к доске, — сказал он, — и объяви всему классу о причинах твоего неблагопристойного вопля.

И прибавил внушительно:

— Да!

Это новое «да» особенно рассмешило меня.

— Хи-хи-каешь! — рассердился Мелетий. — Радуюсь, что мерзким своим поведением возвращаешь благочестивого Григория Зуева!

Тут уж засмеялся весь класс. «Благочестивый» Зуев был отъявленный сквернослов и ругатель.

Желая показать отцу Мелетию, что я вовсе не так плох, как он думает, что у меня и в помыслах не было развращать «благочестивого» Гришку Зуева, я решил открыть ему всю правду.

— У вас, батюшка, — сказал я любезно и вкрадчиво, — есть привычка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в течение урока...

Мелетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из неё волоски.

Это всегда выражало у него высшую степень гнева: чем сильнее был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из неё два или три волоска.

Теперь он вырвал не меньше десятка и, вырвав, сложил их рядком, один к одному, на чёрном переплёте классного журнала, дунул на них что есть силы и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным голосом (в минуты гнева голос его всегда опускался до шёпота).

Он говорил, что он служитель алтаря — да-да-да! — и не допустит — да-да-да! — чтобы всякий молокосос — да-да-да!..

Говорил он долго и тем же шёпотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса.

Я вышел из класса и стал у дверей...

Мелетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то онагром. Что такое онагр, я в то время не знал и тихонько отодвинулся от двери.

Близилась большая перемена.

В конце коридора зазвякали стаканы и блюда.

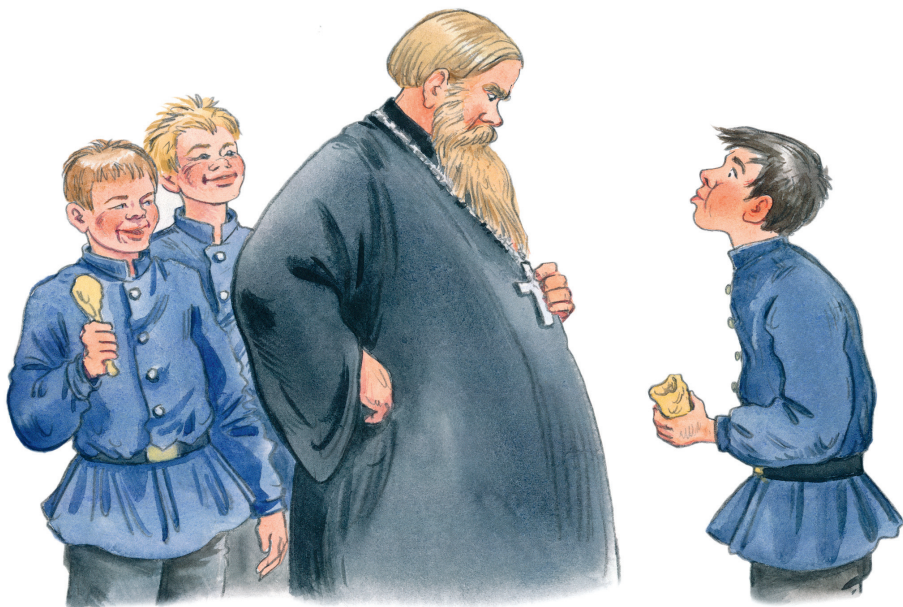
Наш гимназический сторож, которого звали Пушкин, расставлял на длинном столе, застланном грязноватой скатертью, бутылки с молоком, колбасу, пирожки, бутерброды.

В кармане у меня оказались четыре копейки. Я помчался к Пушкину и купил пирожок. Только что я взял его в рот — динь-дилень! — зазвонил колокольчик, и изо всех дверей стали выбегать гимназисты. Вот и поп Мелетий, придерживая рукою серебряный крест на груди, шествует крупными шагами в учительскую.

Я бегу к нему и говорю:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Но рот у меня набит пирожком, и у меня получается:



— Баюа, поие, поауа!

Он поворачивает ко мне лохматую голову, и вдруг его чахлые, тонкие губы искажаются ужасом.

— Ты... ты... ты!.. — говорит он, задыхаясь от гнева, и хватает меня за плечо.

Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь мне не будет пощады! Потому что пирожок у меня с мясом! Сегодня же, как нарочно, пятница, а Мелетий тысячу раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно Великим постом, мы, православные, и думать не смели о мясе, ибо Господь Бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил: неужели Господу Богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот! Но Мелетий уверял нас, что это именно так, и горе тому нечестивцу, который сегодня (в пятницу!) дерзнул предстать перед ним с мясным пирожком — нарочно, чтобы поиздеваться над ним, да-да-да!

Непрожёванный кусок этой преступной еды так и застрял у меня в горле.

Я понял, что мне прощения нет и не будет, но всё же лепетал механически:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Мне самому его прощение было не нужно, но на Рыбной улице во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для неё большим несчастьем.

Всякий раз, когда в гимназии со мной случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что у неё будет болеть голова и что целые сутки она — моя

мама — будет лежать без движения, полумёртвая, с почернелыми веками.

Я готов был сделать всё на свете, лишь бы голова у неё перестала болеть.

И вот я бегу за попом и со слезами умоляю его:
— Батюшка, простите меня!

Но по его насупленным белёсым бровям, по вздёрнутому крохотному носику, по искривлённой нижней губе я вижу, что тут личная обида, за которую этот человек уже не может не мстить.

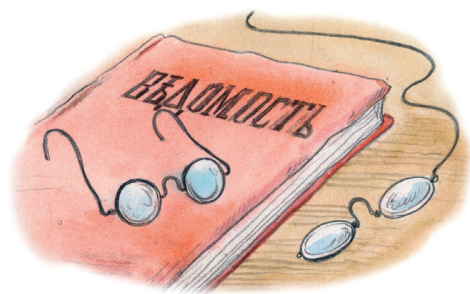
— Как христианин, — сказал он, — я прощаю тебя. Как твой духовный отец, я молюсь за тебя. Но как законоучитель я обязан тебя покарать... ради твоего же спасения.

Вокруг собралась толпа. В толпе я увидел Зуева. Он стоял за спиной у Мелетия и с самой простодушной улыбкой обсасывал куриную ножку. Его широкое, мясистое, бабье лицо лоснилось от куриного жира.

Вдруг Мелетий заулыбался, закланялся: к нам, стуча высокими каблучками маленьких щёгольских башмачков, подошёл Шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своём шутовском языке:

— Слышал, слышал о ваших художествах! Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне... сюда... в рыдальню?





Глава третья

ЗЮЗЯ

Директор был немец: Бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенно русском языке и любил такие слова, как галдѣж, невтерпѣж, фу-ты ну-ты, намедни, давеча, вестимо, ай-люли.

Этим языком он владел превосходно, но почему-то это язык вызывал во мне тошноту.

Распекал он всегда очень долго, так как сам упивался своим краснобайством, и даже наедине с каким-нибудь малышом-первоклассником произносил такие кудрявые речи, словно перед ним были тысячи слушателей.

Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один «рыдалец». Это был распухший от слѣз, испуганный Зюзя Козельский.

Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену. Несчастный не только спиною, но головою и пятками прижался к стене, пылко желая, чтобы стена проглотила его. Но стена была каменная, и Шестиглазый мог сколько угодно услаждать свою душу пустословием.